

11 июля 1969 г.

МАШКОВ ПЕРЕУЛОК— «ПУЛЬХЕГДА»



МАМЫ хранятся письма Максима Горького к отцу, — сказала мне Наталья Фредериксен, когда несколько лет назад мы познакомились с ней в Аскере, городке, выросшем на крутых склонах Осло-фьорда.

Наталья Фредериксен (такова ее фамилия по мужу — высокому, голубоглазому учителю гимназии в Аскере, коммунисту, известному движению Сопротивления) — в девичестве Добровейн, дочь замечательного пианиста, композитора, знаменитого дирижера.

Концерты, которыми он прославил себя, в Москве помнят сейчас лишь старики, но имя его известно всем русским читателям без различия возраста по воспоминаниям Максима Горького о вечере в Москве 20 октября 1920 года.

Несмотря на желание прочитать эти письма Максима Горького, в тот мой приезд в Норвегию так и не удалось мне свидеться с вдовой музыканта — она гостила тогда в Москве. В этот же раз в Осло мне повезло. Я жил на улице Гаральда Прекрасноволосого, 10-с, на седьмом этаже, в гостях у Марии Добровейн, в комнате, откуда видны курчавая зелень окрестных гор и облака, плывущие над фьордом. Стойная, подтянутая, удивительно моложавая, лихо, с ловкостью заслуженного шоффера управляющая своей старой, видавшей виды малолитражкой, она с такой же свободой и легкостью владеет даром непринужденной душевной беседы.

А беседы наши с гостепримной хозяйкой в ее уютной белой гостиной с высокой до потолка книжной стенкой, заполненной монографиями по музыке, по русскому искусству, русским классикам (уголок Москвы в Осло), не раз переходили за полночь. Одна из полок уставлена двенадцатью переплетенными томами — собранием сочинений Горького, переведенными на норвежский Натальей Фредериксен. Рядом ее книга о Горьком и многие другие, переведенные ею книги советских писателей. Своими переводами Горького и первой на норвежском языке монографией о нем Наталья словно ответила на его любовь к ее отцу, на ласку жестковатой широкой руки, гладившей ее темные вьющиеся волосы. Ведь не раз в раннем детстве своем она уютно пристраивалась на коленях Алексея Максимовича, слушая их долгие беседы.

Свободные от книг гладко-белые стены гостиной плотно увешаны картинами и фотографиями. Выпрямившись во весь свой могучий рост, улыбается Федор Шаляпин. Сосредоточенно смотрит вдаль Рахманинов. Фотографии все с трогательными дарственными надписями. Ведь с Шаляпиным в заглавной роли Добровейн осуществил постановку «Бориса Годунова» в пропагандированном театре «Ла Скала» в Милане. В «Ла Скала» же он увлек итальянскую публику «Сказанием о граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова. Яркие квадраты окантованных акварелей — эскизы к «Евгению Онегину» работы Добужинского. Я знал раньше прелестную строгую графику Добужинского, его иллюстрации к роману Пушкина, но декорации к «Онегину» увидел здесь впервые. С этими и другими операми русских композиторов Добровейн, будучи много лет главным дирижером оперного театра в Дрездене, знакомил немецкую публику. «Борис Годунов» прозвучал там под его управлением.

Живя за границей, Добровейн стал яростным — этот эпитет соответствует темпераменту артиста — пропагандистом русской музыки, как бы памятя слова Горького, написанные после наполненных этой музыкой вечеров в Сорренто:

«Это — настоящая, глубоко взятая Вами русская музыка, но Вы умеете влагать в нее несколько дикий лиризм, изящество и грацию, которые, выгодно подчеркивая ее силу, придают ей общечеловеческое, универсальное значение».

Уже приговоренный к смерти — рак легких — и зная о своем недуге, Добровейн лихорадочно работал, чтобы успеть закончить запись на пластинки «Бориса Годунова» в исполнении нью-йоркской «Метрополитен-оперы» — оркестром, которым он дирижировал.

Я бережно перебираю эти пластинки, разглядываю книгу Горького с дарственной надписью автора, его письма, в одном из которых можно прочитать такое признание:

«Профан в музыке, я все-таки человек, кое-что испытавший, я много чувствовал, искусство не чуждо мне, и для меня его область — область самых глубоких и мудрых наслаждений. Я немало слышал музыки, но редко испытывал с такой поглощающей меня силой ощущение красоты и радости, как испытываю это, слушая Вас».

И то, что все эти немые свидетельства полнозвучной жизни, картины и снимки развешаны здесь на стенах, — понятно мне. Но только вот, к чему бы среди них спортсмены-лыжники? На фотографии он и она. Снежная целина, нет и следа лыжни. Его, высокого, молодого, стройного, я узнаю сразу — Фритьоф Нансен. А невысокая женщина рядом с ним на лыжах в длинной юбке, из-под которой видны еще более длинные лыжные штаны? Старая фотография, когда еще считалось неприличным женщине появляться в брюках. Это Эва Сарс — первая жена Фритьофа. И снежные горы, за их спиной вовсе не горы, а декорации — хорошо расписанный задник. И под лыжами тоже не снег, а

имитирующие его плотно уложенные комья обыкновенной ваты. Чемпион Норвегии по лыжам, человек, пересекший на них из конца в конец Гренландию, что до него считалось невозможным, — и вдруг та-ка бутафория!

Снято в помещении, потому что в начале девяностых годов не умели еще фотографировать на открытом воздухе, на «натуре». Фотоателье Форбекка. Вспоминаю: настоятель стольчного собора пастор Рагнар Форбекк, лауреат Ленинской премии мира, рассказывал мне, что отец его был профессиональным фотографом, и деревянный домик на окраине Осло, в котором мы беседовали, достался ему по наследству.

Но вернемся в Москву двадцатого года, в тот осенний день, когда утреннюю изморозь с крыш смело склонило солнце, а к вечеру пошел холодный моросящий дождь.

Мы с 1916 года жили в Москве в Николо-Воробьевинском переулке, неподалеку от квартиры Екатерины Павловны Пешковой в Машковом переулке у Чистых прудов, — вспоминала Мария Альфредовна, — и, когда Горький наезжал в Москву, он всегда бывал у нас, но еще чаще мой муж заходил по вечерам на Машков запросто посидеть с ним и поиграть ему. Так было и в тот вечер двадцатого октября.

В своем кабинете в Кремле Владимир Ильич Ленин с утра работал над статьей «К истории вопроса о диктатуре». Редакция журнала «Коммунистический Интернационал» ждала ее для очередного номера.

На небольших листах бумаги, испещренных размашистым косым почерком, Ленин энергично разбивал доводы тех лидеров рабочего движения Европы, которые и в двадцатом году повторяли по существу то, что говорили после революции 1905 года в России меньшевики и кадеты, и доказывал, что «без насилия по отношению к насильникам, имеющим в руках орудия и органы власти, нельзя избавить народ от насилиников».

Статья получилась большая — одиннадцать журнальных страниц. Закончив ее ко второй половине дня, Ленин принял затем товарища, приехавшего из Сибири, и долго беседовал с ним о партизанском движении, о тамошних неурядицах и о том, что предстоит сделать, чтобы их разрядить. После ухода сибиряков он написал ответное письмо в Тульский губком партии, в котором подчеркнул, что «...пока не побили Врангеля до конца, пока не взяли Крыма всего, до тех пор военные задачи на первом плане. Это абсолютно беспорно».

И только после двенадцати часов, до краев наполненных работой, вспомнив, что Горький в Москве, Владимир Ильич решил завершить день беседой с другом.

...Автомобиль пересек пустынную Лубянскую площадь с громоздким, фигурым, давно не действующим фонтаном посередине и углубился в каменное многоэтажное ущелье темной, с потушеными фонарями Мясницкой. У почтамта свернули направо. Черные стволы облетевших лиц Чистых прудов мелькали за окном. Шины зашевелились по опавшей несметаемой листве. Поворот. Еще один. И вот узкая расщелина Машкова переулка.

Шофер остановил машину у подъезда уже знакомого ему дома...

А в это время Алексей Максимович рассказывал Добровейну о петроградских ученых, восхищаясь тем, как в небывало трудных условиях они продолжают самоотверженное служение науке.

— Датский Красный крест приспал продуктов в подарок русским ученым, — говорил он. — Это произвело на них превосходное впечатление. Но, к несчастью, они вымирают один за другим!

На днях в Петроградский порт пришел пароход из Норвегии. Норвежский Красный крест отправил большие партии продовольствия в Петербург. И Нансен, один из организаторов этой «посылки», воспользовался случаем и попросил возглавившего рейс Крока передать письмо Горькому.

— Это трогательное письмо... Приглашение, — говорил Горький. — Да, Нансен человечище, каких мало... Весной мы впервые пожали друг другу руки.

И дальше пошел рассказ о встрече в Петрограде, когда Нансен приехал в Россию хлопотать о возвращении на родину бывших военнопленных мировой войны. Рассказ этот не был еще окончен, когда в дверь позвонил Ленин...

...В тот вечер Горький решил «угостить» Владимира Ильича музыкой и попросил Добровейна сыграть им что-нибудь. Когда к просьбе хозяина присоединился и Владимир Ильич, Добровейн не заставил себя упрашивать. Сначала играл свои импровизации на русские народные темы, потом без пауз перешел к Григи. Исполнил затем Шопена, он поднял глаза от клавиатуры и в



В. И. Ленин у А. М. Горького в 1920 году («Аппассионата»).

Картина художника Д. НАЛБАНДЯНА

черном зеркале откинутой крышки рояля увидел отраженным серебристое, сосредоточенное лицо Ильича, ушедшего всем своим существом в музыку, и рядом поглаживающего седоватые усы Горького, умевшего, как и его гость, слушать так, что талант исполнителя раскрывался во всей своей полноте. Екатерина Павловна сидела в кресле, прикрыв глаза ладонью.

Добровейн исполнил «Сечу» из «Сказания о граде Китеже» и, наконец, заключая полуторачасовой импровизированный концерт, сыграл «Аппассионату».

Может быть, в эти минуты Владимир Ильич вспоминал вечера в Кракове, когда Инесса Арманд ему и Надежде Константиновне играла Бетховена, именно эти сонаты, Инесса Арманд — его любимый друг, — за гробом которой он неделю тому назад шел промозглой московской ночью.

— Вернулся Добровейн домой поздно, необыкновенно взволнованный, — рассказывала Мария Альфредовна... — «Я пришел бы еще позже, если бы меня не подвезли. Знаешь, кто меня подвез к дому? — торжествующе спросил он. — Владимир Ильич! Ленин!»

Вспоминая потом об этом вечере, Горький писал, после заключительного аккорда сонаты Ленин долго сидел задумавшись, а потом сказал:

— Ничего не знаю лучше Appassionata, готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!

Нет, не случайно эта соната, названная итальянским словом, означающим — горячо, страстно — соната, в которой живет дух времени, дух французской революции с той силой и чистотой, какими, по словам Романа Роллана о Бетховене, наделяет великая и одиночная душа, воспринимающая впечатления бытия в их подлинном масштабе, не искаженная мелочами жизни, — вызывала именно такие мысли у Владимира Ильича.

Если правда, что когда в голове нет идеи, глаза не видят, то, вероятно, это же можно отнести не только к зрению, но и к слуху. Музыка будит в каждом как раз те мысли, те идеи, которыми поглощена его душа, человек в ней слышит то, чем он полон сам.

Мария Альфредовна была растрогана, услышав от меня, что рояль, на котором Добровейн в Машковом переулке играл Ленину, недавно отправлен в музей Горького в бывшем Нижнем и там каждый год двадцатого октября лучший выпускник Горьковской консерватории будет исполнять на нем «Патетическую» и «Аппассионату».

— Я знаю еще об одной встрече вашего мужа с Лениным на полгода раньше, чем в квартире Пешковой, — сказал я.

Это было в апреле двадцатого года, когда Ленин исполнилось пятьдесят лет. Сказав Марии Ильиничне, что на IX съезде его уже потчевали демьяновой ухой славословий, он потребовал прекратить «это безобразие», решительно отказываясь принять участие в каком-либо торжественном заседании по такому поводу и, горячась, уверяя ее: «Юбилейные речи... Их надо просто запретить! Декретом запретить у нас в стране!»

И все же товарищам из Московского комитета удалось уговорить его приехать хотя бы на второе, не торжественное, а концертное отделение посвященного ему вечера.

Длинный, узковатый зал заседания МК. Председатель открыл собрание, но Ленина ни в рядах, ни на трибунах не было. С речами выступили Луначарский, Ольминский. Посвященные Ленину стихи читали пролетарские поэты Кириллов и Александровский. Присутствовавшим особенно запомнился нарисованный Максимом Горьким образный, полный характерных мелочей, почерпнутых из самой жизни, из глубин неистощимой памяти писателя, портрет того, кому в тот день исполнилось пятьдесят лет.

МАШКОВ ПЕРЕУЛОК—«ПУЛЬХЕГДА»

(Окончание. Начало на 3—4-й стр.)

Пароходы в Россию не ходили.
По сухопутью границы были фронтами.
Курьеры не ездили.
Блокада.

Наконец удалось уговорить немецкую радиостанцию Науэн передать 4 мая радиограмму Ленину, в этом послании Нансен сначала излагал текст своего обращения к «большой четверке»: президенту США Фордсу, премьер-министрам стран Антанты — Англии, Франции, Италии — Ллойд Джорджу, Клемансу и Орландо.

«Сэр, настоящее положение с продовольствием в России, где каждый месяц сотни тысяч умирают от голода и болезней, является одной из проблем, более всего волнующих в настоящее время умы всех людей», — написал он и предлагал им создать комиссию для организации помощи России продуктами питания и медикаментами. Далее Нансен сообщал в своем послании Ленину, что лидеры Антанты соглашались на такую помощь при условии, что Красная Армия приостановит свои действия против белых. Причем они даже не обмолвились о том, что это условие будет обязательным для держав, участвующих в интервенции против Советской республики. Это был с их стороны лицемерный маневр,

Разбитые армии Колчака откатывались к Уралу.

Деникин еще только собирал силы для наступления с Кавказа и Дона на Россию. И Антанта стремилась выиграть своим ставленникам передышку, воспользовавшись для этого гуманным предложением Нансена.

Ленин, разгадав этот нехитрый маневр, писал Чичерину и Литвинову, что нужно точнее и подробнее сказать, что «Вы—де ссылаетесь на гуманитарный (кажись, даже только гуманитарный?) характер предложения? За это всяческие благодарности и комплимент лично Нансену».

«Ежели гуманитарные цели, не впутывайте, любезный, политику, а везите прямо (это подчеркнуть). Везите прямо! Мы даже заплатить готовы и в тридорога и Вас охотно пустим для контроля и Вам всякие гарантии дадим»...

Но ежели только перемирие, а не мир со странами Антанты, который Советская Россия неоднократно, но безответно предлагала, — то это уже политика.

«Хорошо ли это — смешивать «гуманитарное» с «политикой»? Нет, это худо, ибо это лицемерие, в котором Вы не виновны и мы не Вас обвиняем». — Лицемеры — это Вильсон, Клемансо, Ллойд Джордж и Орландо. Это они настоящие виновники войны. Это «...они ведут войну, их суда, их пушки, их патроны, их офицеры».

Ленин советовал Чичерину разъяснить это Нансену.

Что же касается самого Нансена, то «...благодарим, принимаем, зовем, приезжайте, контролируйте, и мы поедем куда угодно (время, место) и заплатим даже по тройной цене лесом, рудой, судами».

В таком духе было составлено ответное письмо Чичерина, переданное также по радио.

«Позвольте мне от имени Российского Советского Правительства передать Вам нашу глубочайшую благодарность за проявляемое Вами горячее участие в благосостоянии русского народа... Принимая во внимание всеобщее уважение, которым Вы окружены...», Советское правительство «...будет особенно радо вступить с Вами в сношения в целях проведения в жизнь Вашего плана помощи... Мы, разумеется, покроем все расходы этого предприятия и стоимость съестных припасов и можем уплатить, если Вы пожелаете, русскими товарами».

Нансен немедля сообщил об этом предложении и желании Страны Советов вести переговоры о мире за правилам Антанты.

Но ответа от них не получил.

Передышка им была уже не нужна.

Деникин начал продвижение на Донбасс, а войска Юденича перешли в наступление и, какказалось, со дня на день должны были взять Петроград.

Однако, храня в своем архиве сверхуважительный ответ Чичерина, Нансен не знал, что он вдохновлен был письмом Ленина, и Добровейн не мог ему этого рассказать, ведь тогда никто, кроме тех, кому оно адресовано, этого письма не знал.

В «Пульхегде» Нансен рассказывал своему другу о планах на будущее. Зарабатывая лекциями нехватавшие деньги, он готовил тогда международную экспеди-

ио на Северный полюс на дирижабле, как обычно вин-
я во все мелочи. Полет над дрейфующими льдами и
ысадка на них с дирижабля.

Вылет экспедиции, возглавляемой Нансеном, был на-
начен на лето следующего года.

Но зимой он занемог. У него, человека, всю жизнь
непрестанных трудах не знавшего отдыха, на шесть-
есят девятом году сдало сердце. На лыжной прогулке
он впал в полуобморочное состояние, — таким и наш-
и Нансена друзья, — только лыжная палка, на кото-
ую он опирался грудью, не давала упасть на снег.

«Наступила весна. Близился день Эйдсволла, день
институции, национальный праздник Норвегии, день,
огда дети, студенты, школьная молодежь расцвечен-
ными флагами колоннами во главе с оркестрами про-
ходят манифестациями по улицам норвежских городов.

13 мая Добровейн на Карл-Юхон гате, главной улице
Хюло, по пути на репетицию, повстречал жену Нансена.
— Фритьофу стало лучше, он даже выходит на бал-
кон. Дело идет на поправку, — обрадовала она музы-
канта...

Репетиция с оркестром продолжалась несколько ча-
сов, а когда Добровейн возвращался в гостиницу, на
сех домах дворники вывешивали национальные флаги.
Видев, что они приспущенны, что многие люди на ули-
це, не стесняясь, плачут, он понял: Нансен умер!..

Похороны были назначены на семнадцатое мая. День
национального праздника стал днем национального го-
да...»

Портал главного здания университета выходит на
Карл-Юхон гате, по которому идут колонны манифе-
тантов.

Открытый гроб с телом Фритьофа Нансена был по-
ставлен на лестнице портала. Там же, немного повыше,
разместился оркестр филармонии.

Детские шествия на этот раз проходили в полном
безмолвии. И, только поравнявшись с порталом уни-
верситета, школьники под звуки печальной музыки Эд-
варда Грига — «Орфея норвежских фьордов и гор», —
прощаясь со своим великим соотечественником, опус-
кали флаги и знамена.

Через несколько дней Лив писала Марии Добровейн
(«Мы тогда еще не были на ты», — поясняет она):

«Пожалуйста, передайте господину Добровейну мое
искреннее спасибо за то, что он 17-го мая так замечательно играл с оркестром. И я буду всегда бла-
годарна, что как раз он в этот день был во главе
оркестра. Вместо того, чтобы ему это сказать, когда
я потом зашла к нему, мы бросились в объятья друг
друга и плакали. Он был трогателен, и я этого никогда
не забуду!...»

Оркестром управлял Добровейн.

...В фойе Большого зала Дома концертов в шведском
городе Гетеборге расставлены скульптурные портреты
«Орфеев Скандинавии». Спокойный датчанин Кай Ниль-
сен, изваянный из белого мрамора, певец Суоми —
Ян Сибелиус, высеченный резцом прославленного
финского скульптора, отлитая из бронзы голова Фран-
ца Бервальда — первого шведа, чьи симфонии широко
зазвучали за пределами страны... И вдруг я увидел
среди них нервное, вдохновенное, восторженное лицо
питомца Московской консерватории Исаи Добровейна,
того, слушать которого любил Ленин, того, кто в гроз-
ные дни октября 1941 года взмахом дирижерской па-
лочки здесь, в Гетеборге, в этом доме, повел за собой

оркестр и, исполняя Первую симфонию Шостаковича,
широко раздвинул стены переполненного зала и за-
ставил всех, кто слушал его, перенестись в далекий
край, в Подмосковье, поливаемое холодными осенними
дождями и горячей кровью, — туда, где решались
судьбы народов и судьба самой Скандинавии.

А в апреле сорок третьего года, в разгар войны,
впервые за рубежом, в этом зале прозвучала герои-
ческая, прорвавшаяся сквозь блокаду, Ленинградская
симфония Шостаковича.

В годы Отечественной войны в этом зале шла борь-
ба за души. И когда здесь звучали симfonии Совет-
ской России, выигрывали не новоявленные наследники
«железного канцлера», а те, кто «с гордостью, может
быть, наивной» думали: «...вот какие чудеса могут де-
лать люди!»

Круги жизни каждого человека пересекаются круга-
ми жизни других людей бесчисленное множество раз.
И для меня точкой, в которой пересеклись, скрести-
лись сразу линии четырех людей, стали те минуты, ко-
гда Ленин, Горький и почетный депутат Московского
Совета Нансен слушали вдохновенное исполнение Доб-
ровейном страстной сонаты Бетховена.

Я не знаток музыки и, может быть, поэтому, когда
речь заходит об «Аппассионате», перед моим внутрен-
ним зрением встает не бурный поток гармонически
завершенных звуков, неудержимо рвущийся из-под
пальцев упоенного ими артиста, а отдавшиеся воле это-
го потока — Ленин, Горький, Нансен, лица которых
пианист видит отраженными в черном зеркале откину-
той крышки рояля...